

ТЕЛЕФИЛЬМ О СОЛЖЕНИЦЫНЕ

В ЧЕМ НЕ БЫЛО сомнений ни минуты — это в его возвращении в Россию. Спорить об этом в минувшие годы приходилось многократно, и всегда повторялся с уверенностью: «Россия изменится — еще при нас; никто не вернется, но Солженицын вернется». Не соглашался с этим почти никто: скепсис ввелся в поры.

Радостно видеть его — почти уже дома. И совершенно непроизвольно возникает вокруг знакомой этой фигуры, будто и не затронутой временем (процитирую дневниковую запись от 18 декабря 1967 года: «Видела в «Новом мире» Солженицына. Оживленный и напряженный, весь направленный к цели, очень быстрый»), поле напряжения. Он неотделим от вопросов, мысленно к нему обращаемых. Участие его в нашем прошлом и в том, что совершилось с нами в последние годы, в крушении коммунизма — очевидно; для меня очевидным образом оправдался и один из важнейших его прогнозов — что народ России не пойдет за месснянской идеей. «Страну, не знавшую 50 лет простого хлеба, — уже никому не настроить к воинствующему национализму», — писал Солженицын в 1980 году, и с ним острейшим образом полемизировали. (Несколько лет, замечу в скобках, множество публицистов уверяли Восток и Запад, что не сегодня, так завтра российский народ с кольями в руках пойдет за националистами; я все жду, чтобы хоть один признал, что он, к счастью, ошибся).

Каким будет участие этого писателя в будущей судьбе России?

Когда-то он дал едва ли не первый пример силы, не направленной на уничтожение себе подобных, — редкий и какой ценный для отечественного сознания XX века пример, и по сей час еще не усвоенный. В таком ужасе мы и отвращения от потоков крови, десятилетиями заливавших эту землю, как в некой чудовищной давящей, что в любой силе многим и сегодня мерещатся насилие и авторитарность. Образованная часть общества столько лет поневоле — а потом уж, как говорят мои личные печальные наблюдения, в немалой степени и по собственной воле — приучала себя к постоянному ощущению бессилия перед лицом власти, так охотно повторяла на все лады: «Да что я могу? Что мы вообще можем?» — что и, правда, разучилась мочь, а примером Солженицына не вдохновлялся, а нередко раздражался.

В минувшие два десятилетия едва ли не более других помнилась мне строка из «Ракового корпуса».

Ссылный герой приезжает в больницу вечером; приема нет, он укладывается прямо на полу, подмостив вешешок под голову. Здесь нельзя, объясняют ему: не разрешается, да и «просто неудобно».

— Удобоно, — вяло отозвался он. — Я — у себя на родине, кого мне стесняться?

Прояснять и комментировать, пожалуй, только мечтается.

«Мы в своей амперии», — говорила с юмором моя няня и крестная, односельчанка моей матери.

Об этом как ни загово-

ришь — все выйдет пошлостью, до того дошло.

И все же рискну: кто обладает, по счастью, этим чувством, кто, несмотря ни на что, всегда помнит, что он у себя дома, кто в не кровавом, но мерзко-тягостном бесправии недавних лет соизнавал, что он в своей стране, а не на кончике стула в чужом доме, — тот знает, какое ощущение силы, какую уверенность в результативности своих усилий оно дает.

Перед нами — человек, наделенный этим чувством сполна, — и не сегодня, а в те еще

лал своей профессией публикуемое слово, — он лично ответствен. Как и тот, впрочем, кто уже в 60-е годы вступал все-таки в правящую партию — и сегодня без тени рефлексии сообщает с телеэкрана, что все активные люди так делали...

Говорю именно о людях своего слоя — университетских, литинститутских выпускниках. Когда Николай Травкин с того же экрана признался, что до сорока лет «верил во все», мать говорила ему: «Сынок, перебежешь как-нибудь, лишь бы вой-

единым» открыл небалованному читателю возможности повествования хорошо знакомыми и приевшимися этому читателю жанровыми средствами «производственного романа» совершенно об ином — о партийной бюрократии и о противостоящих ей — сначала героически-мученически, а затем победительно.

Эта героика и победительность отличает роман от последующих скептических и иронических повествований постсталинского времени, и, рискнем сказать, встреча с ав-

Маргарита» — и сразу понравился решительно всем, причисляющим себя к крылу «прогрессивному». И герой, и автор импонировали читателям безоговорочно.

Каждый — любой, прикосновенный к слову — литератор, редактор почувствовал себя Мастером и даже Булгаковым — среди них (свидетельствую как очевидец) и Латунские, и Лапшенниковы. Правда, определенность биографии трех авторов убывала от одного произведения к другому. Дудинцев охотно рассказывал о себе; Солже-

общего отечественного дела, владеющий этим человеком.

Но и задевают слух с тем же азартом сказанные слова — «так называемая перестройка в кавычках», «путч в кавычках».

В кавычках или без (слово выбрано было, правду сказать, на редкость неудачное — из 20-х — 30-х годов, с уже прилипшим тогдашним зловещим значением), но свобода пришла в нашу страну во второй половине 80-х. И уже в 1985 — 1986 годах мы различали ее шаги, а через три-четыре года уже могли сказать, что живем в свободной стране — то есть можем найти в ней возможность для публичного обсуждения вопроса о степени этой свободы.

А путч?.. Идя в ту ночь к российскому Белому дому, не о кавычках мы думали, а, честно сказать, о точке, с печалью допуская каждому взрослому человеку в той ситуации понятную возможность того, что шальная пуля ее поставит.

А люди, открывшие новую страницу истории России? Да, из недр того же аппарата они поднялись. Но много и ожидать было трудно, и много лет говорили мы с друзьями о том, что неужто же среди многомиллионной этой армии — партии не найдется одного — только одного! — «доброкачественного карьериста» (так тогда для себя формулировали), который захочет войти в историю, освободив свою страну? По закону больших чисел вычисляли мы Горбачева. И в первые годы новой, им открытой эпохи он не обманул, а превзошел наши ожидания (тем печальней было видеть его действия в 1989 — 1991 гг.).

«Если бы в СССР пришли к власти люди, думающие сходно со мною, — их первым действием было бы уйти из Центральной Америки, из Азии, из Восточной Европы, оставив все эти народы их собственной вольной судьбе. Их вторым шагом было бы прекратить убийственную гонку вооружений, но направить силы страны на лечение внутренних, уже почти вековых ран, уже почти умирающего населения. И уж, конечно, открыли бы выходные ворота тем, кто хочет эмигрировать из нашей неудачливой страны» (из письма А. Солженицына Президенту США Р. Рейгану).

Не это ли и было сделано, и делается? И не стали ли толчком к мысли и воле делателей (сколько бы ни было протомлений и трагических ошибок) также и мысли, и книги Солженицына, и пример личного выбора, предложенный им всей стране — всем, но и каждому?

И не один ли из главных его уроков — вглядываться в мысль другого человека, но не пренебрегать свою собственную мысль непременно додумывать до конца, — не обрывать ее, склонившись перед авторитетом? И мысль соотечественников писателя не должна записываться и перед его собственной сильной, страстной, всегда доведенной до крайних пределов честности и искренности мыслью.

Жалко было, когда лицо Солженицына исчезло с экрана. Его ждут в его стране, теперь уже бесповоротно свободной.

Мариэтта ЧУДАКОВА, член Европейской академии.

ОБЛИК И МЫСЛЬ
ВЕЛИКОГО СООТЕЧЕСТВЕННИКА

времена, когда ненависть к режиму в долгие минувшие годы привела многих и многих людей его слоя к ощущению, что эта страна — не их, и преодолеть это им так и не удастся.

Иногда кажется, что ходячие обвинения писателя то в антисемитизме, то в стремлении к авторитарной власти — не хочется и повторять — имеют источником какое-то подспудное и более серьезное раздражение.

Что же так неконтролируемо раздражает, если позволительно такие догадки?

Во-первых, вот это необъяснимое чувство лагерника «у себя на родине». Во-вторых, ранняя и безоговорочная ненависть к коммунизму. Совсем не все, а среди людей пишущих — может быть, мало кто — эту безоговорочность разделяли.

И сегодня еще слышу от тех, кого называют шестидесятниками, — от старших моих сотоварищей по профессии: со Сталиным стало ясно сразу; а Ленин, революция... Мы не могли на это покуситься... Так когда же вы лично отошли от Ленина? (Вопрос мой был к собеседнику вполне конкретному, способному на благородные душевные движения и добрые поступки, искренне любящему поэзию). Да вот только последние два года.

Верю ему — но и не верю. Для меня это только одно означает — человек сам себя удерживал более четверти века от того, чтобы додумывать собственные мысли до конца.

Почему или зачем — вопрос особый и сложный. Одно знаю и свидетельствую сегодня перед любым читателем — после 1956 года, додумать это до конца было делом техники, методика была у всех на руках.

Это в 1939 году Эренбург писал в одном стихотворении: «Додумать не дай, оборви, молю, этот голос, чтоб память распалась, чтоб тоска раскололась...», заклинал: «Не дай доглядеть. Скажи, молю, эту милость, не видеть, не вспомнить, что с нами в жизни случилось». В 1956-м был дан толчок восстановлению памяти и зречести, самосознанию нескольких поколений (в том числе и подростков, и юным студентам). Всем был дан исторический шанс становления. Если им не воспользовался тот, кто сде-

ны не было», — и он, соглашаясь с ней, закрывал глаза на ужасающую бедность своего народа и только в 1985 году глаза эти открыл, — я ему верю и сочувствую, и уважаю его искренность. Но он ведь не брался писать романы, очерки, публицистические и критические статьи! Именно люди пишущие непростительно соблазняли малых сих, морочили читателю голову своими недодуманными, от самих себя спрятанными мыслями, говорили и говорили о «возвращении к чистоте ленинских принципов». (И они же, добавлю, потратили драгоценные 1985 — 1988 годы на то, что меняли Сталина на Бухарина, — и вакуум, со счастливой быстротой образовавшийся было в народном сознании в первые же годы идеологического обновления, бездарно заполняли этой шелухой, вскоре уж оттуда и выветривавшейся... Они не дали реальной пищи народному уму — и сегодня, разочарованные во всем, ищут пристанища по разным городам мира).

Настаиваю вновь — это была не невольная слепота, не леденящий ужас перед дулом пистолета (и реальной угрозой жизни близких), который мутит и светлые головы во второй половине 30-х — нет, это было лукавство, хитроумие, всегда находящее себе оправдание в отечественных условиях действие «для пользы дела» (как и называл Солженицын один из первых печатных рассказов).

В современной эстетике есть понятие «горизонта ожиданий» — обобщенного эстетического и жизненного опыта исторически определенной, читающей публики. Писатель может либо оправдывать эти ожидания, либо, возможно, резко менять «горизонт».

В конце 50-х — начале 60-х годов «горизонт ожидания» читающей публики был как бы рывком приподнят трижды — но с разной литературной силой.

Эту разницу уровня самого художества мы оставим в стороне, помня и то, что тогда никакой иной литературы, кроме той, о которой пойдет речь, а также «Доктора Живаго», тут же и отвергнутого «Новым миром», в подцензурную печать предложено не было.

В 1956 году роман В. Дудинцева «Не хлебом

тором (не героем) повести об Иване Денисовиче была в определенной степени подготовлена в сознании отечественного читателя уже подзабытым за шесть лет героем Дудинцева, хотя вполне о нем никто, кажется, уже и не вспоминал.

Дома, за кухонным столом, в глуши советского быта и в безвестности, с бесконечной верой в нужность своего дела готовит человек мировое открытие — мы это успели уже забыть и этого уже снова жаждали. Ожидаясь автор с биографией — мученической и победительной, — нажитой не в кабинете Союза писателей с табличкой на двери.

Рязанский учитель на первых порах эти ожидания вроде бы удовлетворил. Но герой его опрокинул все ожидания, сформированные романом Дудинцева, и прочитанным немногими и на многомиллионную аудиторию ослабленным романом Пастернака о докторе-поэте, особенно же мемуарами Эренбурга, где в те же самые начальные шестидесятые впервые за долгие-долгие послеоктябрьские годы рассказано было о многих замученных художниках, поэтах, артистах — в прах превращенной славы страны. А здесь через все повествование прошел лагерной походкой совсем простецкий человек, крестьянин, и к нему — именно были прикованы несомненным образом и любовь, и интерес автора.

Он соединил этого героя с безмерным пространством страны: место действия предстало не как, странная, периферийная по отношению к «большому миру» экзотика, а как второй, едва ли не больший мир.

На периферии в глазах автора вроде бы оказался мир людей образованных — оказался к огорчению одних и негодованию других. Автора этого героя ожидали — и автор пострадал в глазах той публики, которую сурово назвал позже образованной, чем расширил, конечно, трещину между собой и достаточно широкой — самой ли плохой? — отечественной читательской средой.

А через четыре года, в ноябре 1966 года, почти в этот самый день, когда в Союзе писателей шло обсуждение «Ракового корпуса», начал печататься роман «Мастер и

Мастер» — и сразу понравился решительно всем, причисляющим себя к крылу «прогрессивному». И герой, и автор импонировали читателям безоговорочно.

Каждый — любой, прикосновенный к слову — литератор, редактор почувствовал себя Мастером и даже Булгаковым — среди них (свидетельствую как очевидец) и Латунские, и Лапшенниковы. Правда, определенность биографии трех авторов убывала от одного произведения к другому. Дудинцев охотно рассказывал о себе; Солже-

ницын был гораздо скупее на интервью. Биография Булгакова оставалась тайной, но за нее-то и взялись, приспособивая ее к «горизонту ожиданий», создавая образ «идеального» мученика.

Солженицын строил свою легенду сам, по собственному разумению, соотнося ее с биографией. — Булгакову, даже об отношении которого с белой армией все еще ничего не было известно, ее сочиняли критики-поклонники в какой-то степени вдова писателя.

Во всех трех прорывах «горизонта ожиданий» была общая важная черта — писание в стол с верой в безусловную значимость своего слова. И само появление этого слова в печати — с опозданием в четверть века (Булгаков) или гораздо меньшим — было фактом иного рода, чем переиздание надолго выпавшей из читательского обихода, но в свое время все-таки печатавшейся «репрессированной литературы».

Лицо, хорошо знакомое нескольким поколениям российских читателей от поздней осени 1962 года, по той хранимой десятилетия по многим и многим домам тетрадки «Роман-газеты», с обложки которой глянуло на нас тогда это лицо усталого учителя. (Одни хранили открыто, на виду — немножко гордясь перед самими собой своей храбростью, — чтобы дети запомнили и узнавали потом, как портрет Чехова и Толстого, другие — долгие семидесятилетние годы тайно, в глубине шкафов).

Не с первых минут, медленно, откуда-то сбоку выплывает сначала в профиль, это лицо в кадр, естественно, сразу же его заполняя, заставляя забыть о собеседниках этого человека. Ведь мы не фильм собирались смотреть, а Солженицына увидеть и послушать. В недавние сентябрьские дни его видели и слышали значительное большинство жителей страны. Пожалуй, лишь самая молодая ее часть — начиная с поколения родившихся в 60-е и позже — еще (думаю, именно еще, а не уже) не читает его, не заинтересована и его личностью — хотя бы в малую долю так, как их отцы и матери.

Энергия и сила, живость и естественность, захватывающий зрителя-слушателя азарт